

Оглавление

До и после восьмидесяти

9

Автор — персонаж

33

Помню — не помню

40

Постскриптум

56

Машин каштан

62

Проза частной жизни

82

Образ жизни

207

Дальше что?

341

*Лучше в несколько раз больше
смутиться от того,
что внутри нас самих, нежели
от того, что вне и вокруг нас.*

ГОГОЛЬ

Не все умеют быть стариками.

ЛАРОШФУКО

*Захотелось старику
переплыть Москва-реку.*

Из фольклора

До и после ВОСЬМИДЕСЯТИ

Надежды на новое тысячелетие я для знакомых маскировал шуткой, что на новый век я оставлен подобно тому, как в школьные времена оставляли на второй год отстающих учеников (у меня была переэкзаменовка по физике за шестой класс, но до второгодничества не дошло). Помнил я и о том, что второгодники и в повторный сезон занимались без блеска, — и какие-то коррективы внести в свою жизнь все же собирался — и сейчас задаюсь вопросом: а внес ли уже хоть какие-то?

Новая жена в новом веке стала главным событием для меня в наступившем тысячелетии.

Этот брак скорее сохранил меня, чем переиначил, чего обычно ждут при переменах в такие-то годы.

Женился я — третий раз — на излете прошлого века, но в первые годы брака, пока обживался на новом месте и редактировал спортивный журнал, жена много ездила по всему миру — и семья для меня по-настоящему все же началась с XXI века, когда я стал называть жену Третьей Патетической, — есть у меня общее с Бетховеном: он глухой, а у меня вовсе нет музыкального слуха.

Старость, если долго живешь, длится дольше молодости. В моем случае это уже отдельная жизнь — и поскольку началась она вместе с новым веком, не знаешь, как считать ее: глубокой старостью или же, заносясь в не оставляющих меня иллюзиях, глубокой молодостью?

Я застал ровесников минувшего века, кого-то из них и близко знал — фигуранта, например, многих мемуаров Виктора Ардова, отца двух ближайших друзей моей юности.

Теперь же среди моих современников есть и ровесники нового века — им уже двадцать четыре; а у тех, кто родился в день моего восьмидесятилетия, есть шанс, прожив столько же, сколько я, войти в век следующий.

31 июля 2020 года (если что-то и радовало меня в такой день сугубо эстетически, то это симметрия цифрового обозначения года) мне исполнилось восемьдесят — пропись смягчает гуманитария любую сумму.

День юбилея начался со ставшей для меня уже привычной за эти годы поездки в клинику, совершаемой раз в два месяца, и я второпях и волнениях забыл посмотреть в зеркало: изменился ли внешне за ночь, отделявшую семьдесят девять от восьмидесяти?

Одна из медсестер спросила, когда щегольнул я каким-то термином: “Вы имеете отношение к медицине?”

“Самое непосредственное, — ответил я, уже свыкшийся со своим положением, — как тяжело больной”.

С терминами медицинскими я и в постбольничных разговорах иногда перебарщиваю — близкий мой приятель, куда больше меня обеспокоенный своим здоровьем и посещающий врачей куда регулярнее, пошутил: ты какой медицинский институт оканчивал — Первый или Второй?

Убийственный диагноз был поставлен мне ближе к осени 2005-го, но предчувствие, что произойдет со мной нечто более неприятное, не оставляло с конца лета 2004-го.

Чем больше времени отделяет меня от начала века, тем яснее понимаю, как повлияла на меня смерть друга и ровесника Бори Ардова.

Боря умер летом 2004 года.

Незадолго до кончины он уверял нас, навещавших его — обреченного — в клинике, что, если бы кто-нибудь отвез его к морю, он бы сразу же пошел на поправку.

Боря умер в конце августа, а мы с женой в сентябре поехали на Корфу — к морю.

Жена, удивленная частотой упоминания в рассказах моих на курорте Бориса, спросила: “Вы были так близки?”

И жену легко было понять: шел девятый год нашего брака, а Боря ни разу у нас не был — и с новой женой моей не был знаком, словно и не слышал о перемене в моей жизни и, как вижу сейчас, судьбе.

У моря я думал о нем больше, чем все последние его годы, вспоминал, как вместе отдыхали в Коктебеле, где мне исполнилось восемнадцать, а Боре уже полгода было восемнадцать, — и вот его больше нет, а моя жизнь продолжается, и я еще строю планы на будущее.

Первая Борина жена (мама Анны Ардовой, и сама к завершению театральной карьеры ставшая заслуженной артисткой) долго не могла взять в толк, зачем, собираясь ко мне, он не меньше часа разговаривает со мной по телефону, когда у меня — это она уже знала — мы будем говорить, часов не наблюдая.

Когда-то мы умели рассказывать во всех подробностях о событиях тех редких дней, что провели друг без друга, — дней таких со временем прибавилось: Боря служил в театре, я начал свою журналистику, и рассказы наши становились еще интереснее.

Однажды мы собирались с ним на день рождения в генеральский дом, но встретились на Пятницкой часом раньше намеченного — и решили глотнуть портвейна: мол, и время ожидания убьем, и разомнемся перед застольем.

Боря вынес из винного магазина две бутылки по ноль семь, что даже мне показалось излишним — вполне хватило бы перед гостями и одной.

Но мой друг сказал, что свободнее будет разговаривать, если своя бутылка будет у каждого собеседника, а то будем ждать своей очереди сделать глоток и потеряем нить беседы.

Я понял, что он умирает (в начале же своей больничной эпопеи Борис все время твердил, что непременно “выцарапается”), когда нам не о чем стало с ним разговаривать. Я, конечно, не умолкал, стараясь развлечь его, но чувствовал, что ничего

ему уже не интересно — и он то ли не слышит меня, то ли не слушает.

И только двадцать лет спустя мне становится понятно, что в это время, возможно, появляется желание остаться со смертью наедине.

Возникнет ли оно у меня?

Мне кажется, что знал я и знаю о Боре больше, чем кто-либо, — больше его родителей, братьев, всех жен. Знал ли он столько же про меня? Предполагаю, что кое о чем догадывался, — догадки вообще заменяли моему другу знания; но никому позднее я не надоедал до такой степени откровенными про себя рассказами, испытывая дружеское терпение.

С другой стороны, дружба наша с того и начиналась, что он сочинил для себя мой образ — и мне долгое время всего удобнее было жить в этом образе.

Живу ли я и до сих пор в нем, что-то досочинив?

Мы и дружили с ним первые несколько лет, как мало кто, а то и никто из людей, мне известных, дружил, — и воспоминание о той дружбе продолжало связывать нас до последнего. Для окружающих мы так и остались до самого конца ближайшими друзьями.

Одаренность Бориса едва ли не во всем, за что он ни брался (может быть, актерство не было самой сильной из его способностей, но и слабой ее не назвал бы), отмечалась и теми, кто годы и годы Бору знал, и теми, кто столкнулся с ним однажды.

Никогда не задумывался: мучился ли он какими-либо комплексами? Но если тайно мучился, на неприятном не сосредотачивался — это умение я и сегодня хотел бы у него перенять.

Я свои комплексы (в тех случаях, когда мне это удавалось) купировал всегда владевшими мною иллюзиями и неизбывной мечтательностью.

В сочиненной-отведенной мне роли (негласное распределение ролей между друзьями неизбежно) достоинства мои сильно преувеличивались.

Вместе с тем я чувствовал, что при отсутствии очевидных, как у Бориса, способностей, было и у меня что-то, чем он не рас-

полагал, — и, увидев это что-то во мне и великодушно оценив, позволял мне быть эгоцентричнее себя.

Не перестаю сожалеть, что ничего мы с Борисом не попытались по-настоящему сделать вместе-сообща.

Когда Боре исполнилось тридцать, он решил поступить на Высшие курсы режиссеров и сценаристов — и легко поступил на режиссерское отделение. Я очень надеялся, что он не только станет режиссером, но и меня втянет-втащит в кино.

Талантливые люди всегда и немедленно видели в нем своего. Курсы исключением не стали — он сразу же дружески сошелся с братьями Ибрагимбековыми. О Борисе они были высочайшего мнения — правда, старший из них, Максуд, наслушавшись Бороных размышлений о кино, изумлялся, что специализироваться тот намерен прежде всего в мультипликации. Я был с Максудом согласен, надеялся в союзе с лучшим другом снимать игровое кино.

Когда через несколько лет на этих курсах занимался и я, знаменитый монтажер тетя Таня Лихачева в разговоре о природных способностях рассказала нам, что, когда рисовала она мелом на доске различные схемы, Борис Ардов, сидя на полу и не вполне трезвый (занятия происходили в помещении Театра киноактера, где буфет функционировал весь день), все схватывал на лету, а вот (она назвала имя известного человека — режиссера, публициста, мемуариста и прогрессивного общественного деятеля) ни черта не усваивал, хотя и записывал прилежно каждое ее слово.

Но Боря трезвее нас относился к своим возможностям — он прекрасно рисовал и поэтому видел своим прямым делом мультипликацию; с ним за компанию и я начал думать о мультипликации.

В дипломном фильме Борис хотел сам все сочинить, нарисовать, снять и поставить и, со слухом ненамного лучше моего, музыку подобрать.

Работа над фильмом заняла у него целый год, но диплом он вместе со всеми почему-то не защитил. Тем не менее у него оставалась возможность в индивидуальном порядке показать свою картину кому-нибудь из главных мастеров-преподавате-

лей и получить диплом после их положительной оценки-заключения.

Дважды при мне в двух разных ресторанах Боря обращался к Данелии и Хуциеву с просьбой посмотреть-оценить его работу — и оба знаменитых режиссера говорили ему, что подпишут любую нужную для защиты бумажку хоть сию минуту. Они знают, как он талантлив, и не глядя высоко оценят картину.

Боря на такой вариант не соглашался — он хотел фильм свой им все же показать. Они выражали готовность посмотреть в любой назначенный день.

Дипломная картина Бори шла ровно одну минуту, но этой минуты для встречи с Хуциевым или Данелией у автора не нашлось, и диплома он так и не защитил.

Когда еще не было сомнений, что диплом он получит — и пойдет, скорее всего, работать на “Союзмультфильм”, — я встретил на Каляевской, неподалеку от студии мультипликации, знаменитого уже тогда, после известного всем мультфильма “Ну, погоди!”, режиссера Котеночкина, нам с Борей знакомого по ресторану Дома актера, и предупредил его, что скоро к ним на студию придет Боря и хорошо бы его на первых порах поддержать.

На что Слава сказал мне: “Придет Боря — нам и делать будет нечего”.

Но до студии Боря не дошел. Что-то менее интересное, чем диплом, сделал на телевидении — и то временно ведущий “Кинопанораму” Олег Ефремов одну из его работ упомянул в своем обзоре. Боря учился у него в Школе-студии МХАТ и главную роль сыграл в дипломном спектакле, поставленном Ефремовым.

Что-то сделать вместе мы с Борей планировали — в мечтах — и после курсов. Вспоминаю сейчас намерение сделать фильм по книге, очень в нашем детстве популярной, сочиненной Борисом Житковым.

Она называлась “Что я видел”, но наша интерпретация потребовала иного названия — “Что я увидел”.

Я потому-то и вспомнил ее сейчас, что наше название подошло бы и к тому, что я сейчас пишу.

За столько лет я что-то и понял, возможно; уж повидал-увидел, несомненно, многое — а кое-что, надеюсь, и рассмотрел.

Сейчас не соображу, какой шел год, судя по всему, нам с Борей едва-едва за тридцать перевалило, и мы с ним смотрели на кухне у Ардовых телевизор.

Борина мама Нина Антоновна Ольшевская — она присутствует в любом мемуаре об Ахматовой, считавшей ее своим другом, — задержавшись на пороге кухни, слушала некоторое время, как иронически комментируем мы какое-то важное по тем временам событие.

И вдруг — с непосредственностью прямой ученицы Станиславского — всплеснула красивыми, Ахматовой отмеченными руками: “Как все-таки странно, что из вас ничего не вышло”.

Тогда я за компанию с Борей и в компании с ним, из нас двоих состоящей, никакого значения словам Нины Антоновны не придал — и, увлеченный комментарием нашим к телепередаче, не так уж в них и вслушался.

Но чем старше становлюсь, чем ближе подхожу — двадцать лет без Бориса — к завершению и своего жизненного приключения, тем чаще возвращаюсь воспоминанием к словам Бориной матушки — и вдумываюсь в каждое из сказанных ею слов.

“Странно” вроде бы и комплимент: странно, что не сделали того, что должны были, — и подразумевалось, что могли, иначе почему же странно. Но прошло с тех пор столько лет, и в поисках закономерностей не случившегося с нами сейчас больше смысла.

Два года подряд — два последних года подряд — Боря возникает в списке тех, чьи дни рождения публично отмечаются газетой “МК” (бывшим “Московским комсомольцем”), — и мне, конечно, интересно, что же нового узнала о моем друге газета, восемнадцать лет после его смерти о нем не вспоминая?

В этом списке Борис назван артистом театра и кино, режиссером мультипликационных фильмов.

Боря служил в двух театрах: недолго в “Современнике” и дольше в театре Советской (теперь Российской) армии —

в каждом сыграл по одной главной роли, но первого положения не занял; добавим к ним четыре эпизода в кино и пять мультфильмов на телевидении.

Обратись ко мне эта газета перед очередным 7 февраля — днем рождения Бори (при жизни его в этот день я думал о том, что через полгода и мне стукнет столько же и как бы хорошо снова не пропуделять эти полгода), я бы с удовольствием рассказал о своем друге хотя бы часть того, что знал о нем, что о нем до сих пор думаю.

Пока старший единокровный брат Бори протоиерей Михаил Ардов не заболел, мы с ним 7 февраля собирали трех младших Бориных дочерей — за четыре брака от Бори рождены семеро дочерей, и всех детей его можно смело считать удавшимися, не только знаменитую Анечку.

Младшие дочери рано потеряли и папу, и маму — и я рассказываю им о них то, чего девочки узнать не успели.

Для детей кое-что приукрашиваю, но рассказ о неприукрашенном Борисе гораздо интереснее.

Боря преподавал в институте кинематографии — и мне кажется (я приходил к нему на экзамены), что педагог из него вышел лучше, чем из его старшего единокровного брата Алексея Баталова, возглавлявшего курс, с которым оба они работали. Но любившим Борю студентам (и студенткам в особенности) для публички хотелось предстать, конечно, учениками и ученицами знаменитого Баталова.

Для получения приличной зарплаты доцента Боре пришлось написать и защитить кандидатскую диссертацию, и, хотя ни малейшей склонности к искусствоведению он не питал, диссертацию сочинил запросто.

Кандидатом наук и доцентом киноинститута он как-то приехал ко мне в Переделкино, когда я — во второй половине восьмидесятых — жил зимой в писательском Доме творчества, чаще называемом просто ДТ. Громкое слово “творчество” местных жителей — не обязательно писателей — не смущало, сам слышал разговор между двумя аборигенами: “Ты сейчас где работаешь?” — “В творчестве, ... его мать, истопником...”

Боря привез показать мне красивую девочку восемнадцати лет (ему подходило к пятидесяти) — она приходила к нему брать уроки, собираясь поступать в театральный институт, и тут же влюбилась в педагога, забыв об институте (позднее она поступила на факультет журналистики университета).

Боря приехал с початой бутылкой коньяку — полбутылки выпил в электричке — и после добавленного мною к столу шампанского (у нас ничего купить было нельзя, уже началась горбачевская компания по борьбе с выпивкой) лег спать.

Я решил, пока он спит, прогулять девочку по зимнему Переделкину, — гуляли, конечно, беседуя, — и меня тронуло, что девочка говорит о Боре материнским тоном, сетует, что не нашел он пока — в шаге, повторяю, от пятидесяти — своего настоящего места в жизни.

Скажи она мне, что Борино положение в киноинституте вызывает у нее уважение, вряд ли посоветовал бы ей выйти за него замуж и посвятить ему жизнь.

Девочка по имени Катя сомневалась, что Борина тогдашняя жена Ольга уступит его ей.

Ольга отбила Борю у талантливой артистки Люды, как никто из трех первых жен преданной не только Боре, но и Ордынке, “За Ордынку, — говорила Люда, — я разорву любого”. Она и поссорила Борю со мной, внушив ему, что я плохо отношусь к Ордынке Ардовых (с воцарением Ольги наши отношения медленно восстановились). А Ольга мыслила сделать из мужа знаменитого человека, а Ордынку превратить в салон, где бы собирались тоже знаменитости (даже интересно, кого она видела вместо Ахматовой, Пастернака и вообще тех, кто бывал у Ардовых до Олиного рождения).

Но ко времени появления юной Кати у третьей жены Бори были уже планы уехать с каким-то художником в Америку — и вакансия жены освобождалась.

Я, правда, не ожидал, что девочка, ставшая четвертой женой, будет до такой степени влиять на взрослого Бориса.

В самом начале девяностых она уговорила Борю бросить киноинститут — вознамерилась сделать его знаменитым художником, чьими картинами она сумеет торговать.

Когда же лопнула идея с художественным салоном, Катя убеждала свою маму продать квартиру и купить домик в Абрамцево, где собиралась разводить породистых собак и держать во дворе лошадь (лошадь им, по-моему, кто-то подарил, видел я эту лошадь).

Уверен, что переездом в Абрамцево Катя, родившая там троих детей, погубила и Борю, и себя.

Не желая, по обыкновению, думать о неприятном, Боря не захотел понять, как он болен, — кстати, Люда, увидевшая где-то бывшего мужа, по виду Бороному (он страшно исхудал) догадалась, что болен он серьезно, — Катя же, упавшая-таки с лошади, после ушиба головы не все воспринимала адекватно.

За долгое с ним знакомство я привык к тому, что Борис везучее меня, — и если ему так не повезло в противоборстве с болезнью, то мне и надежды не остается, приключись со мною нечто сходное.

Вместе с тем я рассчитывал окрепнуть на Корфу, больше времени проводить в морской воде — и продолжал строить планы, осуждая себя за мнительность, в которой прежде не бывал замечен.

Мои опасения, возникшие из-за сравнения своей жизни с жизнью Бори, подтвердились меньше чем через год. Болезнь ли, ее ли лечение стали фоном моей жизни?

Через жизнь мою за два десятилетия после смерти Бориса прошли десятки докторов — и не всех причислил бы я к спасителям, всякое бывало. Но одно я усвоил: без доверия к докторам до моих лет не доживешь, причем особого доверия к тем, кто видит в тебе-пациенте не подчиненного, но партнера, как спьяну посоветовал я одному уже отошедшему от дел профессору медицины, чем едва не довел его до сердечного приступа от изумления.

А может, моя жизнь нынешняя протекает внутри болезни? Тема медицины будет, наверное, пунктирно просвечиваться едва ли не во всем, что рассказываю или собираюсь рассказать.

Никогда я не испытывал такого, как тем летом, когда исполнилось мне семьдесят пять, прилива энергии — и притом не только энергии заблуждения (что в и в более позднем возрасте еще полезнее, чем в молодости), но и вообще энергии.

У меня вышла книжка, вернее, две, но одна — тоненькая — была собрана из уже опубликованного в журналах. Пришлось, правда, по требованию издателя что-то добавить, буквально за неделю сочинить несколько коротеньких рассказов; над ними бы еще недельки полторы посидеть, но меня торопили — и они портят эту красиво изданную книжку. Зато другая — сильно потолще — была совсем новой, месяца за четыре сочиненной.

Мне кажется, что удовольствие, которое получал я от ее сочинения, тексту в некоторой степени передалось — и книга не осталась совсем уж непрочтенной, как с большинством из книг моих случалось.

Конечно, прочтению способствовал и вновь возникший интерес к нашему некогда знаменитому дачному поселку, а все действие моей книжки происходит в Переделкине.

Огорчало лишь восприятие моего сочинения мемуаром, а не романом частной жизни — в повествовании видели итог. Между тем, казалось мне, через свою жизнь я использовал возможность изобразить и время, в котором жил, — и продолжение должно было бы последовать.

День рождения жены мы отметили в Париже, а мой — в Питере, который не меньше Парижа люблю: в Париже я больше двух недель не жил, а в Питере случалось жить и месяцами — и чувствовать себя на этих берегах не чужим.

Сигнал слепой опасности — властный намек на зыбкость нашего существования — я не услышал, но увидел, когда в Шереметьеве, пока ждали возвращения своих чемоданов, носильщик на электрокаре едва не налетел на мою жену.

Но в Питере никаких предупреждающих сигналов не последовало. Телефонные поздравления (к семидесяти пяти и я привык к мобильной связи) выслушал под косым от резкого ветра дождем, не отменившим долгой прогулки по городу, интервью со мной по случаю юбилея, опубликованное в спортивной, конечно, газете, укрепляло в уверенности, что к вышедшему после семидесятилетия двухтомнику сочинений о спорте необходимо успеть добавить не менее двух томов и не о спорте.

Под свой электрокар, замаскированный под возвращение болезни, точнее, под последствия удачного, но слишком долгого для одного организма лечения, я попал в следующем году.

Начался третий акт моей медицинской драмы, на этот раз совсем уж вплотную близкой к трагедии.

Но я же обещал не торопиться — не пугать всеми подробностями этой драмы и упомянул о ней только для констатации факта: летом 2016-го мне и года жизни не обещали, а не то что восьмидесятилетия.

Прервал свой рассказ о 31 июля 2020-го — и сейчас вернусь к возвращению домой из клиники.

Операция-манипуляция вновь удалась — и ехал я на дачу с чувством освобождения. Временного, конечно, но теперь до осени, аж до начала октября жить можно будет с меньшим беспокойством.

Забыл уточнить, что возвращался я из частной клиники — в пятидесятой больнице, где столько я пролежал, куда потом приходил как домой, и не только лечащие врачи и сестры, но и суровые люди на вахте при входе казались мне роднёй, объявили карантин из-за пандемии, и мой давний и главный благодетель-академик, заодно и главный уролог всей России устроил меня в частную, к известному хирургу.

Прощаясь с хирургом, уже на крыльце частной клиники задавался праздным вопросом: как же выживают люди без связей и без денег?

На обратном пути домой в машине работало радио.

Про Лешу я сейчас вспомнил в ассоциативной связи с разговором чуть ли не полувековой (ну, может, чуть меньшей) давности, когда зашла конкретно речь о предстоящей старости.

И невообразимая тогда в применении к нам (собеседник мой, правда, был меня четырьмя годами старше) возникла цифра возраста восемьдесят, Алексеем произнесенная.

Речь Лешки — Алексея Габриловича, известного, кто не знает, кинорежиссера — начиналась на тему суетную, на первый взгляд: ему года два оставалось до шестидесяти, и он зара-